

Иван ЧЕРНЫШОВ

Иван Чернышов родился в 1992 году в Тюмени. Кандидат филологических наук, закончил ТюмГУ, защитил диссертацию в МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий специалист отдела информационного обслуживания областной универсальной научной библиотеки, ведущий литературного проекта для молодых литераторов Мурманской области «Школа критики». Автор книги прозы «Работа над ошибками». Публикуемый здесь рассказ получил диплом 1-й степени в номинации «Проза» на 15-м литературном форуме имени Николая Гумилёва «Осиянное слово» (2019).

ЗДОРОВЬЕ И ДИСЦИПЛИНА

Рассказ

*Контроль, отрицание и железная воля
(Основные принципы Здоровья и Дисциплины)*

Глава первая,

в которой мы знакомимся с Андрюшей Кульковым, джентльменом

Энергосберегающие лампочки выглядывают из плафонов, словно жала. На отвратительном диване, который весь пропитался потом, лежит больной, весь какой-то выгоревший Андрюша Кульков – ему стыдно и неловко. If I never see...

Ему приснился летний ливень; Андрюша наблюдал его в своей давно оставленной комнате – нельзя там было больше оставаться. Кому-то суждено умереть на чужбине. You can never go home. Will you still remember the man I was?

«Я теряю память с пугающей стремительностью. Так беспомощно мы глядим на черепки от случайно разбитой тарелки: прежде чем с сожалением выбросить их, мы в последний раз вспоминаем, что когда-то тарелка была целой».

Андрюша – крупный, но вместе с тем какой-то и тощий. Вроде бы наденет когда пуховик или просто пиджак – и представительный мужчина, а останется на кухне в футболке – и представительность улетучилась (как Елена Летучая).

«В детстве нам почему-то очень хочется и во второй раз сунуть руку в муравейник, это как в ту же реку пресловутую войти, пускай там и вода холодная, зато река та же самая».

У Андрюши толстые губы и смугловатое лицо, крупный нос и большие карие глаза. Даже волосы у него какие-то крупные, крупно пряди спадают, потому что Андрюша из экономии перестал стричься (по той же причине он перестал и бриться).

«Мой приятель (бывший) признавался, что хочет «открывать людям свою душу». Будь я менее зажат, я бы ему сказал: открывать – открывай, но всегда напоминай им, что это – музей, где ничего нельзя трогать, ведь окружающие обычно воспринимают чужую душу не как музей, а как туалет на вокзале».

Андрюше 26 (или 27, или 28), он ненавидит лежать, поэтому сейчас он приподнимается на скромной своей постели (Андрей Белый написал бы «на скромной постели своей», или нет, на «скромном алькове своем»), застывает в неестественной, напряженной позе и оглядывает свои владения, потихоньку предаваясь воспоминаниям.

«В туалете на вокзале. Сейчас поедем. Мы, таличане, веселый народ. Золотой дождь лил и лил, лилилил. Мантрой повторяешь: “он же больной парень”. Болезнь и

извращение – двоюродные братья. Не то чтобы совсем близки, но и друг другу не чужие. А что такое извращение? Извращение – это то, что мне не нравится.

Начальник туалета на вокзале. Носит ли фуражку? Здесь силовиков полно, их начальство и в штатском опознаешь. Головы как булки хлеба. Обычно без головных уборов. Носят *польты с воротниками* и брюки в полоску, о дороговизне которых говорит тот факт, что они ровно сидят на ногах и не скатываются в гармошку».

Временами Кулькову в голову вселяются фантастические картинки, рисующие его не Андрюшкой совсем, а каким-то другим человеком. Таким, какой он есть, он себя не принимает и не любит; сравнивает себя с Обломовым, на ячмень тоже недавно грешил, но, слава Богу, прошло.

«Я американский республиканец, могу себе позволить снимать дом, женат на женщине пинапной внешности. Мы едим много мяса и ходим в церковь. Я будто чувствую руку Иисуса на моем плече. Он всегда одобряет мои поступки, жить радостно и легко».

В квартире у Андрюши мебели нормальной нет вовсе. Съемная эта квартира дорогая бессовестно, но более-менее просторная и почти в самом центре, минут пятнадцать пешком до центра (двадцать, двадцать пять). Андрюша сейчас живет в городе, где триста тысяч человек народу, так что вы можете себе представить примерно, в каком районе он живет (вы уже знаете: почти в самом центре).

«“Стоик” – не значит “терпеливый человек”. Стоик в любой момент готов на самоубийство – а это-то и выдает в нем человека нетерпеливого. Импульсивного даже».

Андрюша поднимается с постели, надевает носки из верблюжьей шерсти, поверх них еще носки из собачьей шерсти (на которых и вышиты хаски), потом (именно в такой последовательности и с некоторыми затруднениями) надевает синие кальсоны и бордовую кофту с узорами, какие на коврах встречаются обычно – и вновь становится представительным.

«У меня осталась obsессия выбирать третий слева товар на полке. Тяжелая голова как у ВСД-шника. Этот диван надо было выбросить лет десять назад. Выхватывание одного предмета, даже если это бутылка воды конкретной марки, все же несет некую неопределенность, “невписанность”, оторванность от реальности. Поэтому есть неопределенный артикль: какая-то бутылка, какая-то пачка чая. Единичный предмет – это король в пижаме».

Если бы мы относились к Андрюше свысока, с иронией, то сейчас пошутили бы, что он-то, конечно, король при полном параде. Но сегодня мы чертовски серьезны, потому что хотим заработать себе *репутацию*, а будучи серьезным до судорог и зубной боли, ее зарабатывать легче всего.

Из мебели у Андрюши вот этот разбитый диван, два стола, компьютерный и письменный, тоже сломанные: из компьютерного выдвигающаяся эта доска для клавиатуры с мышкой не выдвигается, а у письменного ящичек один заклинило (туда-то, как назло, у Андрюши записка была положена, и сколько раз уже хотел ломать до конца стол, лишь бы деньги высвободить, но все пугается: столик-то хозяйский, а хозяйка узнает, надает ему люлей – не иначе, не иначе никак).

Еще у Андрюши два мягких кресла, на них выходящая одежда вся свалена. Из своих *предметов интерьера* у него только гитара, спасенная из комиссионного, и статуэтка, где три обезьяны что-нибудь да друг другу закрывают: одна закрывает другой глаза, вторая закрывает третьей уши, третья закрывает первой рот... короче, очень *аллегоричная* статуэтка, которую Андрей по весьма приятной цене купил в магазине подарков на углу Ленина и Профсоюзной. Погуляв по комнате с минутку, Андрюша скидывает разом все свои носки (холодно так потому, что дверка балкона старая и не закрывается толком, так что балкон фактически все время будто приоткрыт), потом надевает назад верблюжьки, натягивает джинсы, куртку, шарф, шапку, ботинки, выходит в подъезд, запирает квартиру, трижды перепроверяет:

«Закрото-закрото-закрото»

и практически бегом устремляется на волю.

«Идешь по улице и испытываешь разочарование от жизни, если наблюдаешь “дисбаланс”: насколько “не вписана” в пейзаж, в реальность вот эта машина, вот этот прохожий, да и я сам.

Нехватка гармонии, рассматриваешь мир как замысел (дизайн), но “невписанные” объекты служат свидетелями того, что замысел отсутствовал».

А пока Андрюша гуляет, мы вернемся в его квартиру и продолжим осматривать ее, ведь ничто так не объясняет человека, как жилплощадь, которую ему приходится снимать. В ванной у Андрюши стоит пемолукс, и, если хозяйка его увидит, ее лицо исказится гневом: «Как же так, Андрей? – спросит она. – Мы же договаривались, что ты будешь мыть ванну Fairy! Ты же этим чистящим всю эмаль мне сцарапаешь! Что ты такое грязное там моешь, чтобы после тебя пемолуксом надо было чистить?»

Андрюша болен – чем именно, я точно не знаю – и, конечно, шутить тут не над чем. Если он болен ипохондрией, то и она прощительна, ведь иной раз так хочется умереть – порой в окно достаточно выглянуть, чтобы умереть захотелось.

Но хоть я и стараюсь быть серьезным повествователем, хандрить при этом мне все равно не хочется. Я мечтаю и сам как-то на ноги подняться, и вас возвысить в *Geistesbereich* куда-нибудь – а как это сделать, если не через юмор? Жизнь пока не научила меня другой реакции, так давайте ж не грустить! *Primum vivere, carpe diem*, эт самое.

«Насколько мне удалось отстраниться от своей жизни? Никогда не хотелось быть собой; желание анонимности – желание свободы. Мне не были нужны новые знакомства, диким гнетом на меня давили старые. Почему-то у меня искали ободрения, и я пытался ободрять моих друзей. Ободрял друга перед операцией на мозге, хотя так и подмывало написать со злорадством, что у него-то операбельный случай, а я от моей болезни могу умереть в любой день. Мысли у меня всегда противоречили словам. Когда появлялся собеседник, мне было перед ним неловко».

Под столом на кухне у Андрюши лежит сломанный принтер, Кульков за завтраком складывает на него ноги, а завтракает наш Андрон самой дешевой кашей «Четыре злака», скидывая недоеденное в раковину, отчего она через день засоряется. На обед Андрей ест шаурму, посматривая ютуб.

Собственно, сейчас он эту шаурму покупает, возвращается домой, разогревает свой обед и кушает очень меланхолично, после чего, борясь с отвращением, возобновляет работу над диссертацией о роли *Сяси* в «Преступлении и наказании». Надо спешить, ибо скоро конференция, где надо будет что-нибудь да *апробировать*, а *апробировать* пока совсем нечего.

«Перед возвращением к застарелой – можно ли так сказать? – работе мешкаешь; не хочется надевать пиджак, в котором ходил на ЕГЭ. Он короток; я смотрюсь нелепо, школьники вообще смотрятся нелепо, они носят кеды с брюками.

Инбридинг мыслей какой-то. Стремление к строгой и холодной ясности, ведь в жизни, в работе все так неопределенно. Стремление *построить* текст – о доме-то и мечтать нечего! Здоровья и дисциплины – вот чего хочется. *We are doomed (at least I am)*. Память ухудшается катастрофически. Я теряю частицы своей жизни; так с дерева еще летом опадают первые листья».

Сосед Кулькова сверху будто чем-то по полу стучает, ну как будто стулом. Походит тяжелыми шагами, потом еще постукает. Кульков на это сердится и делает погромче стрим, на котором говорится о жизни в тюрьме – Андрюша слушает его фоном и изучает роль *Сяси*. Сосед тоже усердно возится, к вечеру оба стихают, и Андрей идет в супермаркет за пиццей, возвращается, съедает пиццу и ложится спать, не почистив зубы, а во сне он видит лето, родной дворик, дверь в родной подъезд, солнце, деревья, уже чувствует вкус щавеля с дачи – вот он сейчас придет домой, а там этот щавель намыт, весь

для него – и хочет, хочет Андрей зайти в подъезд, но нет – он *в компании* каких-то вроде знакомых старичков, и *вынужден* пройти мимо.

А ведь дома его ждет мама!

На другой день все, в общем-то, повторяется, только вечером сосед слушает подкартавливающего на невиданной громкости Алексея Казакова, который признается, что ему скрывать нечего, и он только рад, если за ним спецслужбы следить будут, а Кулькову это все отчетливо слышно, и он гадает, голый ли Казаков по телевизору выступает, или все-таки немножечко одетый.

На третий день Кульков вот-вот почти определяет исключительную роль *Сяси*, но его мысль будто оскопляет сосед, включивший перфоратор. Андрюша хочет идти ругаться, но вдруг понимает, что физически не в состоянии этого сделать – не слушается его тело, как в ступоре каком-то, одно сожаление только, что мысль умертвили. Затем Андрей понимает, что сосед, в общем-то, имеет право сверлить, ибо еще 23 часов нет, вспоминает совет из текста, который надо было переводить по английскому, где не рекомендовалось работать дома, потому что это приводит к *extreme exhaustion, and often causes depression and asthenia, especially among PhD students*, и решает записаться в библиотеку.

Андрей долго кружит по чужому городу в поисках фотостудии, чтобы сделать фото для читательского билета (электронные билеты тут внедрены не везде), но находит разве что торговый центр с кофейным автоматом и на том успокаивается, покупая эспрессо. Умершая мысль как будто начала возрождаться, будто показался самый ее краешек, неявно обозначился некоторый намек, и Кульков, проливая кофе на куртку, бежит домой, затем, боясь еще больше, что мысль не возродится, вынимает телефон и надиктовывает этот *мысленный краешек*, после чего возвращается домой уже спокойно, а там и сосед сверлить перестал.

Мы не приводим расшифровки этой записи, поскольку она сделана совершенно неразборчиво. В качестве компенсации здесь, на предполагаемом месте расшифровки аудио Кулькова, будет неточная цитата из Бахтина: «Быть чужим в этом мире – это право».

Глава вторая,

в которой Кульков намеревается ругаться с соседом

В два часа ночи сосед включает танцевальную музыку, и Кульков, как-то сильно обрадованный тем, что это происходит уже после 23 часов, спешно одевается и бежит ругаться, но весь азарт мгновенно стал сдувать *слой фактов*: *тамбур* закрыт, у предполагаемой квартиры соседа нет звонка, либо это не его звонок, потому что не указан номер, да и номер-то квартиры можно вычислить лишь по аналогии, а Кульков знает, что в этом городе есть привычка все нумеровать *от балды*. Поэтому Андрей ходит по лестничной площадке, водит плечами и *натантывает* невысушенной после похода за пищей обувью (вечно-то он следит-наследит!), все хочет позвонить соседу, но рука его словно приклеилась к туловищу, так что Кульков хочет уже носом нажать на кнопку звонка – лишь бы хоть так победить свою трусость – но трусость не сдается, и Андрей меняет тактику: он спускается, звонит по домофону и выясняет, что у соседа нет и домофона. Вернувшись в квартиру, раздевшись и накрывшись с головой шерстяным одеялом, Андрей примерно до шести утра слушает видеоблог про тюрьму в наушниках через мобильное приложение ютуба, после чего ложится спать – и не может уснуть, потому что саундтрек наверху сменяется на эго-ориентированный русский рок, – Андрей читал научное исследование текстов русского рока, где убедительно и блестяще-неотразимо доказывался отрыв рокеров от народа, потому что в их текстах наблюдается превалирование *я* над *мы*.

Но вот, похоже (чутко прислушивается Андрюша), кто-то другой пришел ругаться, там будто один мужчина, две женщины и собака, и ругаются, и ругаются, и вот как будто еще один мужчина к дискурсу подключился. Андрюша рад, что проблема решается без его участия, и ему наконец-то удастся заснуть.

Проснувшись после полудня и обуреваемый жаждой скандала, тем более что теперь, когда кто-то другой уже успел обрушить основную критику, Андрюша чувствует себя в относительной безопасности. И вот Кульков оделся и уже звонит во все звонки тамбура, и (звони – тебе откроют) ему открывает сосед соседа. Это невысокий желтоволосый и желтобровый парень лет двадцати двух (трех, четырех), с длинными ресницами, до сих пор с прыщами и, как говорится, с прищуром. В салатových бриджах, которые ему, возможно, подарила девушка или мама, и в серой футболке без надписей. Они с Кульковым маленько беседуют.

– Не знаю, кто там живет. Я его даже не видел, – говорит. – Соседа вообще еще никто не видел.

Эдак вот загадочно.

А Кульков признается, что он раздражительный очень, и ему все вокруг мешают, и кутежи в шесть утра мешают.

– А ты что, диссертацию пишешь? – со смешком, с юморинкой сосед соседа спрашивает.

Как мы уже знаем, Кульков-то как раз пишет, а *еще и в этом* признаваться отчего-то неудобно. Андрюша вновь *сникает* и уходит (не прощаясь), и вдогонку ему несется еще один смешок. Выходит на улицу, у подъезда кошка

«мне кажется, у меня животная душа, мне нужно только настоящее, а не перспективы, мне хочется только есть, спать и покоя – и вот я у всех животных в глазах вижу душу свою, даже с нарисованными животными себя больше отождествляю, чем с парнем в зеркале

голова у меня так заболела, я купил *нурика*, раньше-то *эн плюс*, я помню, рассказывали ребята, как *отбивать*; мне это было интересно. Они о себе рассказывали, я удивлялся, сколько у нас общего. И это с такими-то ребятами, они же совсем пропащие, да и я такой же, да

I've been waiting for a guide – как *им* объяснить, что я оказался в чужом, в *вашем* мире, именно поэтому мне и нужен гид – вы-то учились без гидов, сами набивали шишки, а я хочу выучиться на ваших ошибках – нет, нельзя, они ревнуют. Мы ошибались – и ты ошибись. Какая уж тут преемственность знаний? Больше того! Они говорят: мы страдали – и ты пострадай. Еще больше того: Бог терпел и нам велел – кому же велел, для кого же Он сказал тогда: *да минует...*? Это у них мазохизм, причем этот мазохизм проповедуют люди, поставленные передавать знания!»

Постепенно наш протагонист переходит к рефлексии о своих напряженных отношениях с научным руководителем, а я – к размышлениям об Андрее Белом, потому что транслировать мысли Кулькова про научного руководителя здесь точно так же неуместно и к делу не относится, а значит, этот временной промежуток может быть без ущерба заменен чем-либо еще.

Андрей Белый пишет так, будто до него на русском никто не писал, все притворяется, что так писать можно – а попробуйте-ка, прочитайте это вслух! А потом попробуйте прочитать вслух меня. Ну? Я же лучше Белого!

Впрочем, мои тексты пахнут филфаком – другие писатели пахнут иначе:

- *Тургенев – пихтой;*
- *Сорокин – шашлыками;*
- *Эдуард Лимонов – щами;*
- *Шукшин и Шолохов – сеном;*
- *Гоголь – приправами;*

- Астафьев – рыбой;
- Пелевин – картошкой фри.

Да вообще многие мои ровесники не хотят нюхать такое всякое, но тут не гносеомахия («меньше знаешь – крепче спишь»); нет, это стремление поставить фильтр, стремление к здоровью и дисциплине, мы перегружены информацией, мы строим против нее баррикады.

«По лесенке поднимаюсь, тут в арочке прямо лесенка, все время боязно, что навернешься, сколько... нет, я хотел сказать “скользко”, скольз-с-ко – иногда трудно вырваться из порочного герменевтического круга, я хотел сказать, из неверного понимания, которое уже могло укорениться. Скрипка-лиса, или там, когда я в школе услышал фамилию “Нехлюдов” и на пол-урока залип, соображая, кто тогда, если не Хлюдов.

Затем – еще одна лесенка, какая-то крутая, одни ступеньки узенькие, а другие как плиты как будто. Для чего было нужно строить город в таком неприглядном месте? Вот у нас везде плоскость, если тебе куда-нибудь надо идти, иди по прямой, потом на девяносто градусов поверни. Все прямо, все резко (и ведь это страшно импонирует!). Наш человек – прямой человек, свободный человек, честный человек en masse. Если он тебе не рад, то так уж даст понять...»

И Кульков отчего-то сердится и поворачивает домой.

«Нервы так напряжены, что только тронь меня кто-нибудь, и случится истерика. Здоровье и дисциплина. Жестокость и несчастье».

Днем Кульков и Сосед Соседа снова в подъезде пересекались, Андрюша рекламные газеты из ящичка своего доставал, а Сосед Соседа вышел с таксой гулять. Снова они поговорили немножко, снова Андрей на соседа жаловался, хотя вроде пока больше поводов не было, а сверх того признался, что действительно диссертацию пишет, и шум его угнетает уж больно.

Как тут Андрюшин собеседник заулыбался! Кульков посмотрел – и видит: солнечная у него улыбка, солнечная. В том смысле, что зубы желтые. Как Солнце. Вот.

– Ну... и о чем же диссертация?

– О Достоевском, – выговорил Андрюша и галопом устремился в квартиру – до того вдруг стало стыдно.

С этих пор у Кулькова возникли подозрения, что Сосед Соседа *караулит* его со своей таксой. Ибо и на другой день, уже, правда, под вечер, они *пересеклись* во дворе (Кульков за пиццей пошел, хотел сегодня мексиканскую взять):

– Диссертацию все свою пишешь, про Достоевского? Как она двигается?

Кулькову очень хотелось ответить: «Как Бейонсе, виляя бедрами», но зажатость давила на него, и он ответил: «Не двигается» (что, в общем, тоже было правдой).

– А ты ленишься, наверное, потому что. Уделяй ей по полтора часа в день.

Вот так самодовольно говорил, а такса его нюхалась неподалеку где-то. Кульков моментально оскорбился.

«Он же меня не знает, почему, для чего утверждать, что я лениюсь?»

Тут Сосед Соседа стал нравоучительно расписывать, как он пленки на телефоны в торговом центре клеит – и никогда не ленится, никогда!

Андрюша кое-как снова разговор на шумящего соседа перевел. Добавил, что слабо представляет, как может такой человек выглядеть. Сосед Соседа согласился и заявил, прищуриваясь:

– О, соседа нельзя увидеть.

– Как это?

А тот пожал плечами и прекратил разговор. И хорошо на самом деле, потому что Кулькову было отчего-то невыносимо произносить последнюю дежурную реплику,

которая все равно останется без ответа, но которая нужна для формального завершения коммуникации.

«Не могу я быть благодарным, лучше пусть про меня говорят плохо, чем считают, что на меня можно рассчитывать», – размышлял Кульков, поедая пиццу.

Слайды к презентации готовы, и Кульков решает вознаградить себя, устроив акустический концерт. Он достает гитару, быстренько ее настраивает – и играет сам для себя. Вот какой у него репертуар:

01 Death in June – All Pigs Must Die (Em G Am C G)

02 Current 93 – Oh Coal Black Smith (Em C)

03 Death in June – Death of the West (Am C Am D)

04 Nick Cave and the Bad Seeds – O Children (Em C Am G D)

05 Death in June – Rose Clouds of Holocaust (Em C G Am C)

06 Nick Cave and the Bad Seeds – Jesus Alone (G)

Как видите, очень маленький.

После концерта мысли Кулькова приобретают мрачный характер.

«Есть по меньшей мере три популярных способа, обещающих безумие: но первый отвратителен эстетически и затруднителен технически (способ “манкурта”), а второй и третий способы я проверял. Заявляю ответственно: они бесполезны. Второй – это китайский способ, который пробовал наш любимый артист Епифанцев (капелька на темечко капает), а третий – это который Достоевский предлагал: пять минут на себя смотреть в зеркало в пустой комнате, именно в глаза себе... Хорошая пара сложилась: Епифанцев и Достоевский! Да... в метании между верой и нигилизмом за веру агитирует страх смерти, а за нигилизм – разум и авторитеты (даже Епифанцев, и тот авторитет)».

Мрачный характер мыслей усугубляется внезапной болью в желудке, Андрюша медленно кладет гитару на пол, видит, как трясется и вместе с тем самопроизвольно сжимается его ладонь, столь же медленно дотрагивается до живота, сперва только кончиками пальцев, но затем и всей ладонью, начинает то гладить живот, то постукивать по нему пальцами, словно в оцепенении, но вот оно проходит, Кульков глотает панкреатин и как во сне идет в супермаркет, где покупает *суп из пакета*. Возвращаясь, Андрюша его готовит и затем долго ест без хлеба, вспоминая, как ел такой же в детстве на даче, кастрюля стояла на крохотной плитке, он даже и ел прямо с плитки, и от мучительной ностальгии слезы Кулькова одна за другой падают в суп.

У соседа лает собака, раздаются как бы сдавливаемые крики, затем, спустя очень непродолжительный промежуток времени, кто-то начинает яростно дергать за ручку двери Кулькова. Андрюша вновь впадает в своего рода ступор, но дверь, к счастью, остается целой: чей-то уверенный голос заявляет: «Женя, нам не сюда», и ручка дергается в последний раз, после чего, опять же, спустя непродолжительный промежуток времени, уверенный голос отчетливо звенит уже из квартиры соседа.

Андрюша решает, что как-либо воевать с таким соседом – себе дороже, и смотрит вечером поучительный фильм Романа Полански «Жилец», примеряя там все на себя (кроме платья, конечно, ибо не было под рукой). После фильма Андрюша чувствует, что он ужасно грязный, и идет в душ, предварительно вымыв ванну запретным пемолуксом. Наверху все это время продолжается разгул веселья.

«Я люблю смотреть в ванной, как с меня грязь сходит, как я ее смываю, и вот она уже на дне ванны, а была на мне, так и понимаю, что теперь чистый. Или я видел фото, как из мужика достали червя-паразита огромного, и мужик рядом с ним ложится сфотографироваться – они примерно одинаковые по длине получаются: вот, мол, какая дрянь во мне жила, а теперь достали, и я могу спокойно рядом с ней лечь. Или вот когда Рогожин с убитой Настасьей лег...»

Окатившись, Кульков испуганно смотрит на свое щедедушное размытое голое отраженьице в запотевшем зеркале.

– Мама, это же я! – вырывается у него вслух.

После чего Андрей много-много раз моргает, с усилием наклоняет голову вниз, зажмуривается и пытается нащупать рукой полотенце. Проходит тридцать секунд. «It's a jinx, it's a jinx, it's a jinx, it's a jinx, it's a jinx, it's a jinx, it's a jinx, it's a jinx». Кажется, отпустило, паническая атака подавлена – и наш герой goes to take a nap.

Во сне Андрюша видит Научного Руководителя; в ответ на вопрос Кулькова о роли *Сяси* он начинает пересказывать сон про забитую лошадь.

– Это не совсем по моей теме, – заметил ему Кульков.

– Какая разница? Главное же – эффекты, эффекты! – ответил Руководитель. – А вот и Марья Павловна, смотрите!

Тут к Кулькову подошла горбатая старуха и начала его душить.

Глава третья,

в которой Кулькова навещают

Андрюша просыпается не столько потому, что увидел кошмар, сколько из-за горлопанящих шансон соседей, и ему кажется, будто в караоке-вечеринке участвует и Хозяин Таксы. Кульков мечтает то отомстить, то переехать, догадываясь, что ни того, ни другого не сделает. Где-то к двум часам ночи голоса соседей воспринимаются Андрюшей уже совершенно как животные, и он, словно неохотно, переходит к этой теме рассуждений, попутно, перебивая свои мысли, уверяя себя, что соседи – наркоманы.

(NB: Тяжело после Булгакова писать на тему плохих квартир.)

Кульков чувствует голод, отчего вскакивает с постели и идет на кухню, где жует засыхающий хлебушек, заедает его долькой шоколадки, после чего решает скушать еще один кусок засыхающего хлебушка.

«Надо убить послевкусие. Вкус не должен держаться», – думает Кульков, пока соседи *топают* у него над головой – тоже, видимо, на кухню переместились, и Андрюша уверен, что переместились они *вслед за ним*.

Следующие десять минут Кульков ищет у себя в квартире скрытые камеры. Он обеспокоен, что все знают о нем нечто секретное.

«Нет, давайте разбираться: ни одного постыдного поступка я не припомню», – приходит к оптимистичному выводу Андрюша, и в течение получаса он с удовольствием слушает музыку соседа, пока сосед не включает «Шелковое сердце», что вызывает в душе Кулькова припадок ностальгии, в который незаметно вклиниваются апокалиптические нотки.

«Почему то время было хорошим? Мы меньше знали. Нет, причина не в этом. Тогда не знаю. Может, тогда мы еще надеялись на что-то, а теперь – уже нет. По радио один главврач, по чистой случайности одновременно и депутат, совершенно серьезно несколько раз пожелал слушателям верить в чудо. Уж только на чудо и осталось надеяться, что некий как бы ураган придет, снесет все это ми...роустройство, разорит этот му...равейник и... нет, лучше вовсе не жить, чем жить так, как я».

От последней мысли Кульков внезапно впадает в ярость: он хватается на кухне стул, врывается в комнату и начинает истерично стучать ножками стула по потолку, призывая соседа прекратить кутеж. Остановившись примерно секунд через тридцать, Андрей прислушивается и понимает, что музыка будто стала только громче, а прекрасно выбеленный потолок теперь украшен значительными косметическими дефектами, а кое-где от ударов ножек остался круглый черный след.

Андрюше хочется рвать на голове волосы – сколько-то Хозяйка за смену потолка потребует! – и эта свирепость побуждает нашего героя наконец набрать полицию.

Когда полицейские приезжают, кутеж наверху еще продолжается. Молоденькие и невероятно спокойные лейтенант и сержант проходят в комнату (свет Андрюша решил не включать, чтобы скрыть следы на потолке), кивают, подтверждают Андрюше, что там шумно, выслушивают его историю, как он ходил, звонил, но не дозвонился, и изрекают:

– Вы понимаете, мы больше вас сделать не можем, – это изрек лейтенант.

– Раз он вам не открыл, то и нам не откроет. А без ордера вломиться нельзя, – поддакнул сержант, едва заметно выделив слово «вломиться».

– Но мы составим рапорт, – успокоил Андрюшу лейтенант.

– Составим рапорт, – подтвердил сержант.

– Участковый разберется, – заверил лейтенант. – До свидания.

– До свидания, – попрощался Андрей.

На следующий день недовольство Кулькова возрастает из-за еще одного *посещения*. На этот раз к нему в дверь звонит рабочий, делающий ремонт в подъезде, и просит позвать *Хозяйку*. Кульков бесится неопишимо и боится до спазмов в желудке, переживая, что придется возмещать ущерб за потолок.

«Конечно, ему подавай хозяйку! Я-то, мол, ясно, что никто, даже сквозь дверь понятно. И не хозяйина – хозяйку! Дожили до того, что бабы всем управляют!»

И работа над *словом* останавливается, Андрей, заложив руки за спину, ходит по комнате и мысленно возмущается, ругая того, кто открыл этот ящик Пандоры, называемый «равенство», сердится на активисток разных движений, что им нечего больше делать, кроме как бороться за право называться автор_ками и редактор_ками (что это чисто фонетически коряво, им, конечно, дела нет –

Они не видят себя

Они не слышат себя

Они не знают дела)

– и настроение портят одним своим существованием.

«Они все извращают, переворачивают. Победу полутора баб в шахматы выдают за преимущество, будто одна эта победа в шахматы разом все достижения другого пола опрокидывает. Эх, неужели они не понимают, что если мы вернемся к традиционной семье, то сколько дела, сколько перспектив разом появится, работа эффективнее пойдет, а сколько сэкономится денег, ликвидируется столько лишнего, интернет очистится от тонн пустого контента, и эти высвобожденные деньги мы на борьбу с раком, старением направим... и как рождаемость повысится!.. Нет, может быть, конечно, сначала этот реакционный шаг ударит кризисом, но уже через поколение все компенсируется качеством. Стоит нам только вернуть традиционный уклад, и уже через поколение мы уже увидим научные прорывы, продолжительность жизни вырастет – уже хотя бы потому, что в жизни будет намного меньше стресса», – строит утопический проект Кульков.

Днем к Кулькову в дверь звонит пожилая и очень скромная толстая женщина, седая, но с густо накрашенными красными губами и шрамом чуть ниже правой ноздри, так что при желании она могла доставать до шрама языком и облизывать его. На голове у нее старый красный пуховой платочек, а в руках несколько газет, видимо, вынутых из чужих почтовых ящиков.

– Это вы в милицию жаловались?

Толстых бабок Кульков не боится и потому смело отвечает:

– Так это вы там без конца буяните?

– Вы что?! Не мы! Я – хозяйка квартиры над вами. У нас уже год никто не живет. Это, наверное, через этаж хулиганят, а вам отсюда слышно.

Кулькова настолько сердит слово «хозяйка», что он не догадывается попросить доказательств – показать ему эту проклятую квартиру – а просто клятвенно обещает толстухе всякий раз теперь вызывать полицию и, возможно, даже подать на *них* в суд.

Вечером в дверь раздается еще один стук... стоп, подождите, нет. Это первый стук, а до того были звонки. Кульков почему-то уверен, что это снова рабочий, злость у него за

день накопилась, и он, не глядя, отпирает, а на пороге стоит совершенно не рабочий, а лицо, можно сказать, почти интеллигентное, свеженькое, лет тридцати пяти (четырёх, трёх) без шапки, с лицом, выбритым до порезов, в коротенькой курточке, в брюках вместо джинсов и в туфельках не по погоде, в штиблетиках таких.

– Здравствуйте, – говорит.

– Вы к кому? – настораживается Кульков.

– К вам, к вам, конечно же, к вам, – радостно отвечает лицо, снимая перчатки *на рыбьем меху*.

– Ко мне? Вы кто? – Кульков вспоминает, нет ли под рукой чего-то тяжелого, вроде бы был зонтик, но им особенно не выгонишь.

– Да я, как бы сказать... – мнется лицо, переступая так, будто, *salva venia*, просится в уборную. – Но впрочем, чего ж вы меня не пускаете? – с неожиданной обидой завершает реплику гость.

Кульков в очередной раз за день оскорбляется и уже почти закрывает дверь, но человек (низенький такой) проворно хватается за ручку со своей стороны, нагло тянет на себя и сыпет при этом словами как бабушки семечками, кормя голубей:

– Не закрывайте, я не с того начал. По поводу соседа вашего сверху, тут есть дело... мы жаловаться хотим, думали, и вы бы тоже, вас наверняка тоже этот шум достает, а я не знаю вашего имени, поэтому на *вы* да на *вы*, а по возрасту и тыкать бы можно.

Кульков задумался: и рад признаться, как мучает его сосед, а в то же время и гордость, хочется показать перед незнакомцем, что он живет без проблем.

– Мы выяснили, что его зовут Моджахамедов Магомед Гамедович, – каким-то полупшепотом возвестил гость, неуместно подмигнув при этом, так что Андрюша заметил, что глаза у посетителя голубые и холодные – точь-в-точь глаза Пушкина.

– Да бросьте вы, я ясно слышал, что он Евгений, а такой фамилии быть не может, и отчества такого нет, – презрительно брякнул Кульков.

– А, Евгений, ну и хорошо, – гость поспешил согласиться, сунул перчатки в карманы и теперь приглаживал немытые темные волосы. – Наши источники ненадежные... так что? Обсудим, как нам лучше действовать? До него ни дозвониться, ни прийти... я, может, зря вот так пришел... но как еще прийти? Давайте я в другой раз приду, назначьте время. Надо ведь что-нибудь с ними делать. Полиции он не открывает, я уже вызывал.

«А что он предлагает?» – Андрей вспомнил поучительные сцены из «Жильца» и «Нашей Раши», но озвучить не решился.

– Да вы-ы... собственно, кто? – вырывается у Андрея вместо остроты.

– Я, в общем-то, музейный работник. За прожиточный минимум работаю, – разоткровенничался гость. – В другом регионе родился... ну это... я привык. Но сосед... квартира сверху, она же не приватизирована, нет у нее никакой хозяйки. Она государственная! – последнее предложение гость выпалил полупшепотом и с каким-то довольным выражением лица. – Ее под музей... как сказать... отрядили... определили... полиция приезжает, не можем выселить его, он просто не открывает. Ждем ордера, чтобы полиция могла дверь выломать. Но пока суд да дело... а мы, знаете, там развесим полотна... Маковского повесим, к нам поступил недавно. Подлинник! Подлинник! – с этими словами посетитель достал из внутреннего кармана куртки несколько бумаг и развернул их. – Николай Ярошенко еще поступил. Я с собой пока ношу для сохранности. Шедевры, шедевры!

Кульков рассматривает шедевры и при этом смеется:

– Какие же это подлинники? Это вы из интернета скачали в плохом качестве, тут даже пиксели видно.

– А вы к настоящей картине подойдите – мазки увидите, – парирует Музейный Работник, убирая шедевры в карман. – Не надо пристально ничего разглядывать – так вам все на свете опротивеет, Андрей Ильич.

– Откуда вы знаете, как меня зовут? – снова испугался Кульков.
– Наши источники... но... одним словом, то, что мы через порог болтаем, это непродуктивно. Я или пройду, или мы без вас будем пытаться...
– Попробуйте без меня, – обрадовался Кульков и захлопнул дверь.
– Сосед ваш, конечно, не выполняет план, – невозмутимо раздалось из-за закрытой двери. – Но они вас как-нибудь иначе достанут.
Кульков, который уже успел дойти до кухни, мигом вернулся и прильнул к глазку. Гость так же стоял у двери и переминался.
– План по дрелям вот не выполняет, – проговорил гость прямо в глазок.
– Какой еще план? – крикнул Кульков.
– А вы откройте, Андрей Ильич. Или в кафе куда-нибудь пойдём.
– Во дворе на лавочке посидим, – сдался Кульков. – Мне потом в магазин сходить надо.
– Завтра, тогда завтра уже, я вас тогда ночь потомлю, – расхохотался гость и моментально скрылся, убежав вниз по лестнице с изрядным шумом и диким хохотом, переходящим в крик.

Глава четвертая, в которой Кульков узнает правду

Андрюша долго, долго, непростительно долго ворочается в постельке, но, наконец, засыпает, и снится ему, будто кот его, Маркес, благополучно оставленный дома у мамы, разговаривает с ним по-человечески, но не как Бегемот, который будто и правда был прямоходящий, и не как Сэйлем из «Сабрины, маленькой ведьмы», который будто и правда из пасти исторгал человеческие слова, а как бы телепатически посылая ему сигналы. И идут они с Маркесом не куда-нибудь, а прямехонько в рай, и до рая, дескать, ногами можно дойти, даже взлетать как-нибудь без крыльев не требуется, как в том же романе «Мастер и Маргарита» или «Сне смешного человека» или фильме «Ла-Ла Ленд», и водит Маркес Кулькова по раю как Беатриче Данта, и никак нельзя понять, почему именно это – рай, что в нем такого райского, ни радости, ни счастья никакого, но вдруг весь рай мгновенно исчезает, а Кульков кричит *исступленно*, потому что осознает, что уже проснулся, а в одном из его *шикарных* кресел сидит что-то человекообразное.

– А как ты думаешь, на Страшном Суде сколько времени весь Суд займет? – неожиданно изрекает человекообразная фигура каким-то *казенным* голосом, каким Кириллов (диктор, не тот) говорил.

Кульков хватает телефон, который у него всегда рядом с кроватью на полу лежит, смотрит, какое сегодня число, и понимает, что все-таки не сон это, не сон: читается дата.

– Можно сказать, что несколько не займет, так как времени уже не будет, но скажем тогда не «времени», а «усилий», – размышляла фигура. – Мне все-таки кажется, что много будет судей.

Андрюша уверен, что к нему пришел бандит, и сейчас он лишит его всех богатств, понимает, что богатств нету, и гадает, решится ли бандит позариться на кульковские почки, ведь больше-то поживиться нечем. Понимая, что бандит пока не торопится атаковать, Андрюша вспоминает, какие тяжелые предметы есть рядом, осознает, что никаких – и будто отстраняется сам от себя, решая стать наблюдателем, раз уж ничего в свою защиту сделать нельзя.

Разглядывая очередного посетителя, Кульков понимает, что тот, похоже, пришел в головном уборе, очень может быть, в ушанке; взглянув чуть ниже, Андрей видит руки посетителя, и тут-то принимается кричать снова, потому что у посетителя нет ладоней, а там, похоже, какие-то культяпки – в темноте толком не видно. Посетитель на крики не реагирует вовсе, так что Кулькову даже обидно, оцепенение проходит, и Андрюша

соскакивает с постели, пытается проскочить в прихожую, но посетитель молниеносно ловит беглеца, бросает на постель, а сам возвращается в кресло. Андрей понимает, что ладоней у посетителя действительно нет: когда тебя в охапку руками хватают, ты уж это почувствуешь, а тут – будто манипуляторами какими поддели. Но Кульков не сдается, он срывается снова, посетитель снова перекидывает его на постель, но в этот раз Андрюше удается изловчиться и задеть выключатель.

Свет включается, и Кульков лицезрит нечто совсем нереальное: у него над душой стоит фигура со сверлами вместо рук, с бычьими копытами вместо ступней и с большим динамиком вместо головы. Одетая фигура в оранжевые шорты с пальмами и желтую футболку с Дональдом Даком. На кресле, где прежде сидела фигура, покоится пакет, из которого игриво выглядывает бутылка спиртного. Страх мгновенно проходит, и Андрюша принимается хохотать – оно и неудивительно, ведь почти таким рисует Соседа интернет-фольклор.

– Смейся, смейся, – идет звук из колонки. – А он там сейчас картины развешивает, не смотрит, что ночь. Ярошенко там к ним поступил...

– Ты... ты кто? – отсмеявшись и отдышавшись, спрашивает Кульков.

– Сосед. Как это кто? – обиженно отвечает динамик.

И тут *карты раскрываются*, и Кульков узнает, что *наверху* принята специальная программа по работе с населением, куда входят демотиваторы, информационные надзиратели и соседи («Мы все, в едином порыве...»), а основной целью программы является оптимизация числа неверно образованных людей, а уж тем более молодых, а уж тем более гуманитариев. К каждому, насколько это возможно, такому молодому специалисту (помимо того, что *сверху* дается приказ никуда его по специальности не брать) приставляется Сосед, который должен всячески его изводить, пока несчастный не пересмотрит свои взгляды на жизнь. Контролирует все это дело некий всемогущий Комитет Здоровья и Дисциплины (H&D), он же занимается и одобрением сетевого контента (одобренный контент снабжается пометкой HD), а его агентов можно распознать по служебному смайлу-позывному «Хд». Однако в той части Устава Комитета, которая касается Соседей, наш Сосед видит некоторые несовершенства, о чем он не стесняется заявить Андрюше:

– Сам подумай, зачем сверлить столько? Ну, разок ты просверлишь дырку, чтобы провод для интернета протянуть, а зачем еще сверлить? А это план такой по сверлам. Правильно этот черт сказал... не выполняю я... потому что недостоверно... нельзя поверить... там 36 часов в неделю сверлить сказано, кто в это поверит? Думаешь, я от хорошей жизни в соседи пошел? Оно мне надо, такую хреновину на голове носить?

Далее Сосед рассказывает не вполне реалистичную историю о том, что у него над веком вскочила ужасная бородавка, которая все росла и росла и грозила лишить его глаза, поэтому он и стал Соседом, чтобы заменить голову на динамик, но Кульков не слушает, в этот момент он даже счастлив: подтвердились его самые сокровенные догадки, которые он отметал как дикие и *несусветные*. Единственное, чего Андрей не понимает, так это чем видит сосед, поскольку органов зрения у него не наблюдается. Затем Сосед начинает жаловаться на несовершенство сложившейся системы, незаменимым винтиком которой он является.

– Вот тот парень с таксой, которого ты видел, – он тоже наш.

(Кульков буквально сияет от осознания своей проницательности.)

– Так чего они задумали, там из этой квартиры уже... там сын моего начальника, Геннадий Саныча, вздумал на казенной квартире кувыркаться... а он несовершеннолетний. И этот, с таксой-то который, ему девок туда и водил. Я узнал, стал ругаться, ты слышал, наверное. А он несовершеннолетний. А ему и девок, и водку за двенадцать тыщ – вся судьба уже расписана. На квартиру в Петербурге отец уже ему напил, а если он сейчас такой, так там уже точно будет один разврат. Петербург же –

наркомания одна. Так вот он из престижного-то вуза упадет нечаянно с 16 этажа, будут потом гадать, нарочно ли, нет ли...

– А я таких шумов не слышал... специфических, – дерзает заметить Кульков.

Но Андрюшин собеседник снова переводит разговор на тему Страшного суда и сокрушается, что одному всех судить тяжело, и придется назначать помощников.

– Физруков каких-нибудь назначат, волонтеров. Племяш мой – волонтер. Виталик. Мой одноклассник физруком стал... Вадик. Вадим Олегович... но они, я так думаю, будут судить справедливо...

Кулькову противно богохульство, и он выражает протест:

– Почему это Божий суд должны осуществлять Вадики и Виталики?

– «Должны осуществлять»! Как ты казенно говоришь! А почему нет? Вот физрук бы стал судить тебя, сказал бы: «Почему в четвертом классе ни за что ни при чем Максима из третьего класса ударил?»

Андрюша удивляется, откуда Соседу известен этот малозначительный факт, но все-таки пытается выкрутиться:

– В четвертом классе я еще за уборку снега грамоту получил, вот одно бы другое уравновесило. Я, собственно...

– Ты это яканье оставь! Я-я-я-я! Jawohl! – делает запрещенный жест гость. – Якать всякая береза умеет, ну, не голосом, конечно, а тем уже, что она стоит, и видно: вот она стоит. Якать всякая собака может, когда лает... нет бы ты сделал умнее, если б как-нибудь сказал: «Нету меня» – и совершенно от нас устранился.

– Куда устранился? Пленки клеить, как ваш этот... с такой... намекал? – сердится Андрюша.

– И правильно намекал! – поддержал визитер. – Ты еще не понял, что такое справедливость. Надо помучиться несколько лет, прежде чем устраиваться в жизни. Помучиться, пострадать – но *по-настоящему* страдать, а не интеллигентским ковырянием, как ты... а не хочешь страдать – устранийся.

– Почему я должен устраниваться? Почему вы от других требуете того, чего не требуете от себя?

– Ты на нас не смотри, – возмущается Сосед. – Ты на высший пример ориентируйся.

– На кого?

– Христос – вот тебе пример.

– Вы опять от меня требуете невозможного!

– Хорошо. Тогда Вадик и Виталик – вот тебе примеры, – подумав, откатывает назад мысль Сосед.

– Чем они лучше меня? Чего вы меряете людей по Виталикам?

– А как надо мерять? Кошки-собаки-Пастернак? Или как оно там? – Сосед стал злиться уже *капитально*.

– Да за что вы их в заместители Бога... почему все хорошие, я один плохой? – Андрюша готов как взбеситься, так и зарыдать – вот так вот разом.

– Они хотя бы не снобы, а ты-то чего? Из каких кровей выпал? – бурчит Сосед. – Почему так презрительно смотришь на уборщиц, на дворников? Чем ты лучше? Тем, что научную работу пишешь? Нашелся тут... ученый! – Сосед стал свирепеть. – А все люди одинаковы, вот чего ты не знаешь! Ударь тебя и дворника по пальцу молотком – вы одинаковые чувства испытаете! Боль!

Андрюша очень боится, что его могут побить, вспоминает почему-то о Заболоцком и Хармсе, но почти сошедшее *на нет* общение заставляет его продолжать пререкания:

– Вот неправда, чем одинаковые? У ученого и дворника не одни и те же эмоции! Все разные, никто не одинаковый! У одного дворника и другого дворника разные эмоции и боль тоже разная! У всех разный опыт, разное воспитание, бэкграунд разный!

– Нет, ну какое он слово выцепил, ты посмотри на него! – гневается Сосед. – Из вражеского лексикона словесами разговаривает!

– Они нам не враги – и уж тем более – теперь, – не может уgomониться Кульков.

– На Трампа намекаешь? – недоверчиво спрашивает Сосед, присаживаясь, наконец, назад в кресло. – Да ну, не знаю... разочаровывает он... нет, вот если он завтра войну объявит...

– Исключено! – горячо протестует Кульков (а он, поскольку сам любит рисовать себя *республиканцем*, Трампу симпатизирует).

– Да знаю, что исключено, но просто скучно, – отмахнулся культияпкой со сверлом Сосед. – К тебе завтра, значит, придет эта вертихвостка Базлаев?

– Эта вертихвостка Базлаев уже пришла, – раздается голосок позади.

Глава пятая,

в которой применяются инвазивные методы

Андрюша выглядывает в прихожую и видит, что входная дверь распахнута (неужели Сосед сверлом отпереть как-то сумел?), а на пороге вновь переминается Музейный Работник, на сей раз – со спортивной сумкой в руках.

– Пустишь меня? – спрашивает он Кулькова.

– Вы чего хотите? – вертится Андрюша, смотря то на Соседа, то на Музейного Работника. – Убить меня? Обворовать?

– Да все нормально, все в порядке, – успокаивает Сосед Андрея. – Я просто думал, он придет уже завтра... но он хорошо сделал... он пришел восстановить справедливость.

– Я пришел благословить этот дом! – поддакивает Музейный Работник, заходит в прихожую, ставит сумку на пол и запирает за собой дверь. – Я сперва только руки вымою, не могу, придя в дом, рук не помыть. Ох, и мыло-то у тебя дешевое...

– Как это «восстановить справедливость»? Что вам нужно? – пугается Кульков.

– Понимаешь, я же из-за тебя работы лишусь, – объясняет Сосед. – Очень ты оказался стойкий. И квартирка теперь в музей перешла, побегал этот вот Базлаев по комитетам, посуетился...

– Я развесил там Мясоедова! – доносится из ванной. – Три подлинника привезли. Представляешь? Где у тебя полотенце-то гостевое? А, нет ничего... я тогда своим платком руки вытру.

– И мы решили с ним, чтоб не ссориться, раз уж я больше не Сосед, а все равно с динамиком, это ж на люди не выйти... мы решили произвести замену, вот Базлаев сейчас всю операцию провернет.

– Да-да-да, я сейчас твою голову ему пересажу, а у тебя теперь будет вместо головы динамик, – вышел из ванной веселый, розовощекий Базлаев.

Андрей находит тот самый тяжелый зонтик и успевает нанести всего один удар Базлаеву, после чего Сосед роняет Андрюшу на пол и придавливает своим весом.

– Ну, а мне не больно – курица довольна! – радостно восклицает Музейный Работник, извлекает из сумки шприц и ампулу, лихо ее открывает, бросая осколок на пол, набирает шприцем из ампулы какую-то прозрачную жидкость и несколько раз, улыбаясь, стучает пальцем по шприцу.

– Хорош играть, коли давай, – командует Сосед.

Базлаев с несмываемой улыбкой, несмотря на отчаянные попытки Андрея сопротивляться, вкалывает Кулькову в руку шприц.

– Тихо-тихо-тихо-тихо, – сюсюкает Базлаев. – Это просто анестезия.

Андрюшу почти моментально начинает «мазать», он еще успевает пролепетать: «Зачем вам это?» и получить загадочный ответ Базлаева: «А как же? Это жизнь», но вот

он уже бессилён сопротивляться: мышцы расслабляются, глаза закрываются, Сосед перетаскивает его на кухонный стол, Базлаев торжественно шагает за ними с сумкой.

– Он точно вырубился? – сурово переспрашивает Сосед.

– Вырубился, не переживай, Геннадьич, – подмигивает Базлаев.

– Давай, делай, что надо... режь там это... пересаживай.

– И зачем тебе такая молодая голова? Но, конечно, другой нет...

– Из-за тебя это все, это ты под свой музей квартиру оттяпать решил. Кто вообще в такой музей ходить будет, который на третьем этаже обычной многоэтажки?

– А хоть бы и никто, музей же государственный, даже вход бесплатный, – отвечал Базлаев, надевая резиновые перчатки, извлеченные из сумки. – Никто не придет? А мне-то что? Я билеты порву и напишу в отчет, что были люди. Ты-то сам как вообще в Соседях оказался? Ни в жисть не поверю, что из-за бородавки.

– Ну... как-как... вот так. Вот так с утра встал и понял, что все, не нужно мне ничего. Не нужна мне семья. И жена не нужна, я в ней разочаровался и все с утра высказал, что наболело: на что мне с ними жить, если не люблю их больше?

– Логика, конечно, да-а... – протянул Базлаев, отпиливая Андрюше голову лазерной пилой, также извлеченной из сумки.

– Ну, – отвечает Геннадьич. – Я собрался и пошел на работу, не закрылся, Анюта тихонько на кухне плакала. Там никому в глаза не смотрел, Геннадий Саныч на ковер меня позвал: «Что у тебя, печень болит после субботы?» – спрашивает. А я на него, тоже так это... вспылит: «Ах вы, алкаш», – ему сказал – и как это еще на *вы* сохранил обращение? «У вас, – заявил ему так... открыто... – совести нет, ко...», – «коррупционер» я сказал – хотел, конечно, козлом обозвать. Иду домой, снегу много выпало... у Леонова, точнее, с Леоновым фильм есть такой, «Слезы капали». Вот, чувствовал себя как его герой. Домой не хотел возвращаться, работать не хотел, все потерял. Кто меня выручил? А-а?

– Рассудок и здравый смысл?

– Рот разинул! Капитализм! Зашел я в кафешку погреться, никогда там не ел, считал, что завышают цены, подонки. Зашел – и в этот раз себе на восемьсот рублей заказал... не наелся, само собой, но отчего-то на душе у меня потеплело, что позволил себе потратиться. И – никогда такого не было – на личный телефон Геннадий Санычу позвонил, извинился, чуть ли не заплакал сам тогда в кафе – а он меня не простил сначала, но потом тоже смягчился, как мякиш-то он хлебный... отгул дал и сам алкашом обозвал, засмеялся на прощание так. Он-то коррупционер-коррупционер, а я – не стукач, он хотя бы немножко-то ценит это. Не стал увольнять пока, но вот, в соседи перевел.

– Как по мне, так неизвестно, что и хуже, – ответил Базлаев, отсоединя динамик от тела Геннадьича и прилаживая туда голову Кулькова. – К жене-то вернулся потом?

Раздался скрип, голова Андрея встала на место динамика, украсив собой фигуру Соседа.

– Нет, к Анюте все равно возвращаться не захотел. Телефон выключил, до часу ночи по городу шатался. Решил, что нет, никакой Анюты. Ты смотришь ютуб?

– Бывает, – отозвался Музейный Работник, подключая динамик к шее Андрея.

– Ну, тогда ты знаешь – рай не с женами и не с детьми; рай – с котиками. Рай – там одни котики, и с каждым можно разговаривать.

Базлаев усмехнулся и стал отпиливать Андрюшины ладони.

– С Анютой этой... она же просто тиран. Чуть что не по ее, она мне возражала одним словом: «так». Ну, теперь пускай поплачет.

– Котиками восторгаешься, а детей бросил, – замечает Базлаев, отвинчивая сверла и готовясь прилаживать Геннадьичу ладони Кулькова.

– У животных не детская душа (какой противный у меня теперь голос), – возражает Сосед. – Животные, может, все лучше нас понимают. И они уж точно лучше детей.

– Ты еще, поди, из тех «любителей смотреть, как умирают дети»? – подмигнул Базлаев, приделав человеческие ладони Геннадьичу и привинчивая сверла к рукам Андрея.

– Ну... – было видно, что Геннадьич приготовился отвечать серьезно. – То, что дети умирают, это, конечно... или... это, *наверно*, жалко, но не страшно – вырастут – нагрешат, а если детьми умерли, то это и в утешение как бы, что без греха. Но, может быть, и дети могут грешить. Когда ребенок мучает животных, как же это не грех? Когда ребенок мучает родителей, нарочно ревет, чтоб своего добиться, что же это, если не злость в нем? А вот то, что умирают животные – это страшно. Не когда они друг друга убивают, или люди – на мясо, а просто когда – от старости. Они-то за что умирают?

– Ты животных просто из оппозиции любишь, только потому, что людей ненавидишь, – недовольно заявил Базлаев, пытаясь отпилить Кулькову ступни.

– Может быть. Ну и пускай. Мне один медведь дороже, чем семьдесят метиловцев, – важно выговорил Геннадьич. – Эх, Базлаев, ты такой неаккуратный!

– А чего?

– А чего у тебя кровь повсюду?

– Я операцию по самоучителю смотрел, как делать, не придирайся к мелочам! – Базлаев сильно вспотел, но завершил операцию и теперь снимал перчатки. – Вот Кульков-то уж слайды подготовил – какая ему теперь презентация?

– А нечего два горошка на ложку... это самое! – сердито крикнул Геннадьич, поднявшись. Покрутив головой и проверив, как сгибаются и разгибаются пальцы, он довольно цокнул, сходил в комнату за пакетом, достал из него бутылку кагора и две рюмки, вернулся на кухню и оперативно наполнил их.

– Никогда я еще не был так близок к православию! – слащаво проговорил Базлаев, чокаясь с Геннадьичем.

Теперь Геннадьич сидел за столом Кулькова с головой, ладонями и ступнями Кулькова, а сам Кульков, превращенный в соседа, лежал на полу. Базлаев сидел на принтере и одной рукой нервно теребил лямки спортивной сумки.

– Благостно! – проговорил Геннадьич, опорожнив рюмочку кагора. – Кагор! Храмовое вино!

– За рекомендуемую сумму пожертвований купил? – ощерился Базлаев.

– Нет, в супермаркете взял. А ты, Юря, зря либеральничаешь. Для карьеры вредно, да и опасны... установки эти.

– Чем это опасны? – насмешливо и торопливо спросил Базлаев.

– Как это «чем это»? – Геннадьич был будто на кураже, но на каком-то злобном кураже. – Как это «чем»? Кашей в головах! Все расшатать, 96 гендеров, забыть историю – им только и надо, что насадить хаос – и смеяться над нами, дураками. Только разрушать, но других, себя – никогда, у них там выстроенные доктрины, «свой-чужой», все расшатывают – и свою программу предложат, скажут: «Видите, какой везде хаос?» А что это они же его так усиленно создавали, так об этом, конечно, умолчат. А с другой стороны, за что нам хвататься, за церковь? Ну, церковь хорошо... вот мы с тобой кагор сейчас пьем – а это кровь... Его. А ты тут сиди, иронизируй...

– Нет, ну кровь Его – это уж слишком, – протестовал Юря. – По-моему, там все-таки не совсем так... но все равно... не надо мне, чтоб ради меня кто-то страдал, не говоря уж о... Нем. Налей еще. Хорошо, – Базлаев залпом опрокинул еще рюмку. – Нет уж, давай страдать каждый за себя, не надо мне этой соборности, софийности, чего угодно... вот ты тоже тут сидишь, треплешься... а нас потом за наше своевольное...

– Не бойся, Юря, – отпивает кагор Геннадьич. – Пора взрослеть, пора самим действовать. Ты так все будешь как Кульков – маленький мальчик, который не хочет решать никаких проблем.

– Если я начну решать проблемы, Женя, я тоже буду маленький мальчик, просто на побегушках, – заметил Юря, снизу вверх поглядывая на результат своей работы.

– А знаешь, кто тогда будет решать проблемы? – подмигнул Геннадьич.

– Кто?

– Современные женщины! – рассмеялся бывший Сосед.

– Современные женщины?

– Конечно. Современные женщины все за нас решат – хотим мы этого или не хотим! Много среди твоих знакомых успешных мужчин? Скоро президентом женщину сделают, то-то мы тогда завоюем. Я среди своих знакомых тебе только троих успешных мужчин назову: Геннадий Саньч, но он коррупционер, – тут Женя стал загибать пальцы. – Алексей Геннадьич, сын его, и мой одноклассник Егор, который сейчас косметикой торгует. Кос-ме-ти-кой! Эти современные женщины нам не позволят выше мальчишка на побегушках подняться.

– Ерунду говоришь какую-то, – отпил еще кагору Юря, вновь показывая, что ему лень разглагольствовать.

– А что так? Посмотри на свою же сестрицу! Во сколько лет она в партию заскочила?

– В восемнадцать, – стыдливо ответил Базлаев. – Но это тут к чему вообще?

– А хорошо уже в восемнадцать лет пристроиться, удобно! Такая бы запросто была чекисткой, в затылок мужиков расстреливала. А что ты морщишься? Женщинам – довольно многим – свойственен садизм. Вот Светлана Баскова... что, мужчине придет такое в голову? Никогда!

– Сорокин же...

– Сорокин там – то да се... – махнул рукой Женя. – У него там и... всякое, а без того, чтоб унижаться. Нет, нет! Вот эти ребята, что у матерей на шеях сидят, они, пожалуй, поумнее нас, они вот лошадей посят... котяшек... они не стали в общество лезть, чтобы там на последней приступочке постоять. Как мы с тобой.

– Да они бы, может, и рады, да их и на последнюю не пускают, – со звоном поставил рюмку на стол Юря и поднялся с принтера, собираясь уходить.

– Вот-вот – не пускают. А кто? – Женя опьянел явно быстрее и уже глядел прищурено-прищурено.

– Современные женщины? – спросил Кульков, пару минут назад очнувшийся и решивший о себе напомнить.

– Кто у нас проснулся! – обрадовался Юря. – Не болит ничего?

– Ты не зря кандидатскую пишешь, ты неглупый человек, – обрадовался и Женя.

– Я не защищусь, – Кулькову нравился его новый машинный тембр, но металлические культишки вместо рук пугали настолько, что он так и не решился на них взглянуть, хоть и ощущал *мертвящий* холодок там, где раньше были ладони.

– Я понимаю, – кивнул Женя, допив кагор. – Можно и к 27 годам превратиться в развалину. Это возможно. Реально. Да.

– Я вас оставлю, – легонько поклонился Юря и направился к двери. – Мне завтра Крамского завезти обещали.

– Давай, давай, – Геннадьич проводил взглядом хирурга-самоучку. Затем с ним произошла как будто вспышка гнева, и он хлопнул ладонью по столу, да так, что опорожненная бутылка подскочила, упала со стола и разбилась о принтер. – А ты чего валяешься? Шуруй на зарядку!

– На какую зарядку?

– На зарядку, на зарядку! Раз-два, раз-два! Здоровье, дисциплина, здоровье, дисциплина!

С этими словами Геннадьич, обойдя осколки, поднял Кулькова и сквозь его волю вытащил на улицу, заставив, угрожая забытой Юрей лазерной пилой, натираться снегом и проделывать другие физкультурные упражнения... словом, эта сцена не была оригинальной и во многом совпадала с подобной в «Джентльменах удачи», разве что это было ночью; Андрей хоть и покрикивал, сопротивлялся, но редким прохожим да

сознательным жителям двора до Кулькова и его странного вида не было никакого дела, так что почти весь комплекс физкультурных упражнений он, насколько ему теперь позволял его новый облик, насильственно проделал, ну, и кончилось тем, что Андрюша упал, изможденный, в сугроб, после чего он помнил только, как спустя какое-то время Геннадьич вез его на невесть откуда взявшейся машине в больницу и громко выражал опасения, что Кульков может подхватить пневмонию, и поплевывал в окошко, чтобы не сглазить.

Глава шестая

Косоротый

Андрюшино пребывание в отделении больницы для соседей описывать скучно, да и нечего, иммунная система после превращения дает сбои, всякая зараза липнет, ничего удивительного, в общем, что заболел.

Больница, как водится, была местом запредельно мрачным – с пациентами, привязанными к койкам (даже и нельзя было понять, за что) и мычавшими то что-то неразборчивое, то выражавшими явный Todeswunsch; был там и пациент, отравившийся просроченной всего на 12 часов лапшой вок.

Андрюша лежал в палате, вяло обдумывая произошедшую с ним трансформацию и пытаюсь докопаться до ее причины, но уже на третий день это копание ему осточертело, и в своих размышлениях Кульков остановился на неточной цитате из Спинозы: «Чем больше у действия причин, тем меньше в нем совершенства».

Но на четвертый день Андрей, разглядывая свои сверла, пришел к выводу, что в этом действии совершенства не было вовсе, что все, с ним происходящее, – это одна сплошная несправедливость.

С соседями по палате Кульков не разговаривал, даже почти не смотрел в их сторону (и не мог понять, чем он смотрит и почему изображение такое качественное), кроме единственного случая, когда к одному из соседей пришла девушка, высокая блондинка со странно-тонкими волосами, но с удивительно здоровым цветом лица; ее серые глаза были такими светлыми, что внушали отчаянье. Андрей повернулся и секунд десять разглядывал парочку, она схватила его за руки чуть выше локтей, сжимая их так, будто она рукава постиранной кофты выжимала; Кульков не мог это наблюдать, он отвернулся и вспомнил статью, в которой доказывалось, что счастливые пары трогают друг друга чаще, но для наблюдателя это противно.

«Вообще, прикосновения противны», – подумал Андрей.

Вечером Кулькова пришел навестить он же сам, точнее, его голова на теле Евгения Геннадьевича. Евгений Геннадьевич принес дешевеньких апельсинов (6 шт.), какие обычно идут на сок, киви (2 шт.) и газированный напиток со вкусом мяты (0,5 л).

– Вот тебе тут витаминчики... а больничка, конечно, дрянь. Сам в ней лежал. И свет отключали, и тараканы тут бегают... и не хирурги, а всякая шваль работает. Даже Юря тутошним хирургам не уступит. Фу, и вонь-то здесь какая! Но ты кушай киви, Андрюша, – Евгений Геннадьевич уселся на краешек койки Кулькова, не спеша, правда, отдавать пакет. – Тут вот случай был, на всех сайтах было. Мужу руку раздробило, так местный хирург ему просто все там разрезал, кость вынул – и зашил. Так и повисла рука у того.

– Не хочу я ваши гадости слушать и ваши киви есть (да и как мне их есть теперь?), – разозлился Кульков. – Сами меня в урда превратили, а теперь... с апельсинчиками ходите!

Соседи по палате слушали диалог Андрея с Евгением Геннадьевичем с оживлением, любопытством и (куда без него) злорадством.

– Ты сам виноват! – укоризненно выпучивает Андрюшины глаза Геннадьич. – Сам не захотел нам на уступки идти. Сам, сам себе такую жизнь выбрал! Ладно. Слушай еще одну историю про местную больницу, да я пойду. Был в этой больнице косоротый доктор Ренатик. Его так называли за маленький рост, такой был шкет, что никак Ренатом не назовешь – только Ренатик. А официально-то, он, конечно, Ренат Чеплашкин по паспорту. И косоротым он стал от нервного тика. Перекосило рот ему – да такой и остался. Может, это и не тик называется, но, во всяком случае, что-то нервное. Самые злые из наших языков говорят, что рот у Ренатика перекосился, когда он жену с соседом застучал, но слишком это на анекдот похоже, не хочется верить. Другие утверждают, что его довели коллекторы, потому что Ренатик брал микрозаймы, отличаясь, что тоже для доктора нехарактерно, нерациональным использованием денежных средств: мог, шикуюя, на работу на такси приехать, мог роллов-филадельфий на обед набрать. Да ты слушай, не перебивай, я тебе пока апельсинку почищу, у меня теперь снова руки есть, а с руками хорошо – я теперь спиннер крутить могу, догоню хоть тренд – жаль, что руки у тебя не очень, надо сказать, ловкие, мелкую моторику в детстве мог бы и лучше развивать, но что есть, то есть, а Ренатик, значит, дай, я долечку попробую, не кисло ли, Ренатик после того как косоротым стал, так у него даже суп изо рта проливается, не может рот закрыть, губам не сомкнуться никак. И все смеются: «Косоротый-косоротый». Так что он уже без маски-то этой врачебной и не ходил, типа как Бэйн из Бэтмена, смотрел? Молодежь, практиканты, открыто уже смеялись, Ренатик, говорили, злодей. Вот какое в городе происшествие ни случилось, а они смотрят, мониторят это нарочно, да сразу же Ренатику приписывают. Если в кране нет воды... сам понимаешь. Просто так выдумывали что-то. Ренатик мимо идет, а они ему: «Ты нас, Ренатик, случайно не подорвешь?», «Ты, Ренатик, давно в ИГИЛ (*запрещенная в России террористическая группировка – прим. ред.*) записался?», «Не ты ли, Ренатик, вчера на Шмидта женщину зарезал?» Ренатик, ясно дело, оскорбляется – малышня его тут желторотая, сопливая, натурально травит. Взял он очередной микрозайм (уж не знаю, как) и на пластическую операцию в Петербург записался. Уехал – и не возвращался потом никак, даже в розыск объявили. Эти-то все шутники – а шутки про Ренатика потихоньку переходили от практикантов до медсестер, от сестер к врачам, от врачей – в бухгалтерию, так что и главврач над ним смеяться начал – шутники-то тоже говорили сначала, мол, новый красивый Ренатик Питер покорит своей красивой рожей, так что его в театр возьмут, в кино, в рекламу памперсов на роль счастливого отца – смеялись да смеялись, а косоротого все нет и нет. Потом от каких-то знакомых – незнакомых – слух пошел, что утопился он в Петербурге. А уезжал-то осенью – вот, говорят, весной всплывет. И всплыл, что характерно. У ментов глаз наметан... так что Ренатик теперь в этой больнице призраком людей пугает. Увидишь ты его, Андрей, знай: это он нам в наказание сделал, больно мы насмешливые стали. Ладно. Я пойду. Пора, как говорится, седлать коней.

Геннадьич, охая, поднялся, пожелал Андрюше здоровья и дисциплины и удалился из палаты, прихватив пакет с *гостинцами* с собой.

– А я эту легенду знаю, – заявил голосом точь-в-точь таким, какой теперь у Кулькова, сосед, к которому приходила блондинка.

– И что? Ты видел Ренатика? – точно таким же голосом спросил другой сосед.

– Нет, – покачал динамиком тот сосед. – Но если у него рот перекосило от измены, то чему тут удивляться?

– Как раз это и удивительно! – возразил другой сосед. – Жену застучать – сплошь и рядом!

– Но он ведь не думал, что это *с ним* случится, – осмелился встрять в беседу Андрей.

– А ты, поди, тоже не думал, что соседом станешь? – осадил Андрюшу второй сосед.

– А для меня все равно измена удивительна, – констатировал сосед № 1. – Я даже в универе удивлялся, что девочки из группы, двадцатилетние, уже с лысеющими встречаются. Мне это было больно видеть.

– Тут деньги, брат, деньги роль играют, – воодушевленно сказал сосед № 2. – Может себе позволить – двадцатилетнюю покупает. А вот меня если и удивляет что, так некрасивые бабы. Ехал в автобусе, напротив меня толстая баба дремала – с короткими крашеными хной волосами, настолько плавно переходящими в такого грязного, седого цвета шапку, что мне казалось, что это двухслойная прическа, а лицо у нее натурально квадратное – я даже почти поверил, что это размалеванный мужик. «Да нет же, это баба», – говорил я себе и в то же время сомневался, что нет, это может быть и мужик, а когда она открыла глаза, я заметил, что и ресницы-то она красила как неопытный трансвестит, и я подумал: «И что, вот эти ее губы покрашенные целует кто-нибудь?» – и мне ведь жалко ее стало – если ее не целуют, – и того, кто ее целует, тоже жалко стало – если конечно, такой и правда имеется.

– Давайте, как и раньше, попробуем не разговаривать, – попросил Андрюша, отвернувшись под хихиканье соседней к стенке и, с трудом орудуя сверлами, накрылся с головой коротким одеялом.

Ну, нет же – когда мы кого-нибудь слушаем! – продолжают соседи соревноваться в том, кто какую мерзость вспомнит похуже, попокастнее – словно вынуждают Андрюшку сбежать от них в туалет под их мерзкий компьютерный хохот – забежал Андрей в туалет – так в мужском даже дверей нет, все просматривается, и накурено так, будто это центр Шанхая.

«Господи! Что Ты позволяешь нам вытворять с собой! – патетически воскликнул Кульков и тут же смолк, коря себя, во-первых, за то, что сказал это вслух, а во-вторых, за то, что позволил себе такие мысли в таком месте. – Какое дикое кощунство, что мысли о Боге приходят в туалете!»

Однако, похаживая по туалету, качая динамиком, Андрей пришел к выводу, что в его поведении нет ничего удивительного:

«Но, право же, где еще современный человек остается наедине с собой?»

Покачивая динамиком и заложив сверла за спину, Кульков вернулся в палату, у входа в которую была табличка со странным словом «Контрактубекс», улегся на койку и вновь (с трудом) укрылся с головой.

– А в другой палате мужик просыпается, а над его постелью – петля. Кто-то из больных пошутить решил так, – продолжают смаковать истории соседи. – А ведь мог бы спросонья и голову просунуть.

– Да это про Филимонова, я слышал, его тут травили, – поддакивает соседу сосед. – Уток в другой раз ему к койке наставили...

– Ну че, как там в сортире дела? Все еще они понос прямо в раковины сливают? – обращается сосед к Андрюше, но Кульков не слушает: то ему кажется, что он совершенно спокоен и ото всех *абстрагирован*, то он ощущает всю свою незащищенность. И такие начинают в голову мысли набиваться тягучие, мрачные, меланхоличные!

«Вот мне плохо сейчас, а когда было хорошо – то хорошо было потому, что было спокойно, и разве я был тогда благодарен Богу и всякому, что не шли ломать мое спокойствие? А теперь... с другой стороны, теперь-то мне чего жаловаться, уж после того, что они со мной сделали, в кого превратили... я теперь точно буду при деле – в роли соседа, мучить кого-то... зато... как говорили раньше – принадлежность к классу. Ведь хорошо в стаде-то – есть да спать. Впрочем, можно и работать, но только для отвода глаз. Они меня раньше мучили, теперь самого в соседи поставят – так ведь обе роли плохие».

Уставший мозг Андрюши не может найти никакого выхода из этой ситуации, нельзя и предположить теперь никакого возврата к маме, к прежним, сытым временам, но – впервые за долгое время – Кульков сознает, насколько старательно он раньше, вспоминая *былое*, вытеснял из памяти настоящую причину своего бегства в чужой город,

причину, может быть, постыдную, делавшую Андрея без вины виноватым, ведь он же сбежал, сбежал – и слова другого не подберешь! – сбежал, как говорится, *запутавшись в бабах* – Маше и Мариночке. От первой, конечно, всякий бы сбежал, ибо то была хабалка, властная и мстительная, думавшая только о карьере (а, мы же что-то из подобных мыслей Кулькова уже чуть раньше приводили. Еheu. Прости, читатель, плохо с памятью, гингко этот совсем не помогает).

В общем, Маша стремилась подчинить Кулькова и превратить в некий объект, нужный ей для статуса (а Кульков, как мы помним, мог быть очень представительным). Амбиции, понимаете ли. Амбиции эти привели уже к тому, что она открыла какой-то дом русско-финской дружбы (у нее отчим – финн, по энергетике они тут занимаются), и больше всего стремилась в эту Финляндию переехать (или хотя бы в Санкт-Петербург; а отчим ей ничем не помогал, даже несмотря на *дом дружбы*). Это она и *назначила* себе Кулькова в кавалеры, тот и не протестовал особо, все же Машенька была красивая, высокая, полногрудая и *пробивная*. Но подчиняться он, конечно же, не мог, и его начало тянуть к подруге детства, миниатюрной кареглазой брюнетке Мариночке, а та, уж как назло, оказалась наркоманкой, и немногие вечера, что Кульков с ней проводил, сводились к созерцанию лежащей на диване *размазанной* подруги – сейчас Андрей внезапно вспомнил струйку ее слюны, *нежно* сочившуюся изо рта на подушку, и как она, очнувшись, первым делом доставала из сумочки голубой платок с фиолетовыми цветочками и, улыбаясь, вытирала слюнку, а потом долго чесалась, сидя на подушках.

Весьма рано для *пробивной* Маши стало явным, с кем Андрей иногда проводит время, и хотела она за Андрюшу посражаться, облить конкурентку кофе, например, но решила, что одним видом все свое превосходство Кулькову покажет, что и получилось, а он только больше Машеньку возненавидел – и импульсивно их бросил, сорвался, уехал, маме что-то про научную работу сказал.

И стоило из-за них срываться с места?

– Да нет, не стоило, конечно, – слышит Кульков где-то над ухом.

Андрюша разворачивается и понимает, что это ему снится, потому что у него снова есть голова и руки, он на зеленом каком-то газончике, чуть ли не на футбольном поле или на поле для гольфа, никак нельзя понять пока что, нет, кажется, для гольфа, а прямо перед ним – кто бы вы думали? – конечно, перед ним тот самый Ренатик косоротый и стоит.

«В наказание мне этот сон», – Андрюша думает.

– Вот... попалась бы тебе Серебряная Рыбка, – говорит Ренатик. – Выполняла бы твои желания. А условие одно: за каждое желание от жизни тех двух девушек (плюс твоей мамы) отнималось бы по году.

Андрюша не отвечает ничего, и тогда Ренатик делает прогноз:

– Ты ведь согласился бы! И причитал, что... ну, как ты можешь... нервно... что это... пакостно... и подло... а все равно бы согласился. Вся ваша суть... интеллигентов.

– Никогда! – отвечает Андрей. – У мамы чтобы жизнь отнимать?!

– А если только у тех девушек, но по два года жизни за желание?

Андрей задумался.

– Вот так, вот так! – хохочет косоротый, и при этом половина головы у него будто бы отстегивается, что делает его похожим на канадцев, какими их изображает нравоучительный мультсериал «Южный парк».

Глава седьмая,

в которой Андрюша идет на ковер, и происходит развязка

На следующий день Андрюшу выписали, хотя он и жаловался на серьезное недомогание. О выписке, как оказалось, похлопотал Евгений Геннадьевич, который, едва Андрюша покинул больницу, схватил его под руку и, лепеча что-то про злую совесть,

подтащил к машине и пропихнул внутрь. Андрей особенно не протестовал, понимая, что сейчас что-нибудь может разрешиться, да и не разгуливать же по городу в таком виде (хоть больничка и на знатном отшибе).

Геннадьич сел за руль и по дороге заговорил с Андрюшей, причем вновь на странные темы:

– Какая, Андрей, по-твоему, самая страшная смерть?

Андрей начинает размышлять над этим вопросом, но Геннадьич его опережает:

– Самая страшная – это о которой ты точно знаешь: как, когда, во сколько... и ничего не изменить никак.

Спустя пару минут Евгений Геннадьевич выдал еще один водоворот мыслей, который Андрюша от стеснительности оставил без внимания:

– Вот как говорится: «Жил – дрожал и умирал – дрожал», – а ты, Михал Евграфыч, можно подумать, не дрожал *на ковре* у своего губернатора? Мы все только и можем, что дрожать. Уж перед всяким... а знаешь, что еще страшно? Паучьи глаза. Или нет, не страх, но будто трясет, аж уши шевелятся: убей, убей эту сволочь.

Наконец, они приехали к весьма известному административному зданию, на фасаде которого по не вполне ясной причине красовались латинские символы **H&D**, зашли со служебного входа, поднялись на лифте на верхний этаж, прошли по коридору и оказались в приемной, завешанной грамотами и благодарственными письмами. Помимо этих наглядных проявлений почета, в приемной было громадное, во всю ширину комнаты окно, перед которым стоял громадный, тоже во всю ширину комнаты, письменный стол, на котором сиротливо лежало позолоченное (а может быть, и золотое) пресс-папье в виде яблочка. За столом сидел невысокий мужчина лет сорока пяти с крупным носом, черноволосый, но заметно лысеющий, с удивительной формой бровей, напоминающей взмах птичьего крыла. Слева от стола стоял, заложив руки за спину, Юря Базлаев, справа стоял, положив одну руку на стол, человек, известный Кулькову как Хозяин Таксы. Все трое были одеты в черные костюмы и серые рубахи. Начальник выделялся благодаря красному галстуку *с отливом* – у Юри и Хозяина Таксы галстуков не было.

– Геннадий Саныч Кораблев, Юрий Николаич Базлаев, Гарнир Палыч Шлехтовский, – Геннадьич представил Андрюше этих джентльменов. – Андрей Ильич Кульков.

Андрюша зачем-то счел нужным поклониться.

– Он Гарнир Палыч потому, что имя не заслужил. Узнали про его... грехи-грехишки, – ухитрился шепнуть Андрюше Геннадьич.

– Вы, Евгений Геннадьич, пон-нимаете, что пересадка н-незакон-н-ная? – гнусаво выговорил Геннадий Саныч.

– Он все понимает, – ответил за Геннадьича Юря.

– Тогда вы подождете в коридоре, – приказал Кораблев.

Евгений Геннадьич покорно ретировался.

– Вы с н-ним говорили? – обратился к Базлаеву начальник.

– Галлюцинирует, – слащаво ответил Базлаев. – Заявил, что Христа в перекрестии батарее увидел.

– А вы ему что?

– А я ему сказал, что все-то Христос у него маленький.

– А он-н вам чего?

– А он мне сказал, что зато я-то какой большой.

– А вы чего?

– А я его обвинил, что он только и может, что стрелки переводить, и что это совсем не по-мужски, а по-женски.

– Н-ну, по-жен-нски кон-нечно... н-но ты тоже должен-н пон-нести ответствен-н-ность, – пригрозил пальчиком Кораблев. – В квартире операцию делать... мн-ного крови было?

– Крови-то много, а сукровицы совсем не вытекло, – потупив глазки, признался Юря.

– Сукровицы? Что это за слово «сукровица»? Леон-нида Ан-ндреева, что ли, обчитался? – внезапно *жахнул* кулаком по столу начальник.

Совершенно неожиданно Базлаев обиделся, да так, что с силой смахнул со стола пресс-папье и раздраженно, даже истерично крикнул:

– А ты обчитался Пригова и Джойса, и поэтому считаешь, что можешь ставить себя выше! «Наследник – ублюдок» – такая дрянь!

– А Гарн-ниру Палычу н-нравится, – неожиданно робко запротестовал Кораблев.

– Да, мне, конечно... и Курлыцкий, Сергей Игоревич, тоже отзывался... – торопливо попытался встрять в разговор Хозяин Таксы, но Базлаев его перебил:

– Много твой Гарнир понимает! Он вообще технарь!

Тут Кораблев встал из-за стола, поднял *яблочко* с пола, вернул на место, подошел к Гарнир Палычу, похлопал того по плечу и произнес:

– А мн-не н-нравятся компьютерщики, он-ни р-ребята грамотн-ные.

– А в этом деле вон Андрей Ильич – специалист, – Базлаев обиженно кивнул на Кулькова.

– Да, рассудите вы, Ан-ндрей Ильич, – повернулся к Андрюше Кораблев. – А вы пока выйдите, я один-н с Ан-ндреем Ильичом поговорю.

Юря и Гарнир Палыч с достоинством поспешили к выходу. Проходя мимо Кулькова, Юря лукаво улыбнулся, а Гарнир еле заметно покрутил пальцем у виска. Кораблев это увидел, и, когда джентльмены уже были в дверях, начальника будто всего передернуло, и он высоко-высоко прокричал:

– А ты, Гарн-нир, за свои выходы вообще... отчества лишаешься, пон-нял? Теперь ты просто Гарн-нир, а н-не Палыч!

– Я-то за что, Геннадий Саныч? – возмутился просто Гарнир.

– Ладн-но, стойте, н-не уходите. Да, я вспльчивый, – сел за стол, пыхтя, начальник. – Зовите н-назад этого... б... баловн-ника... ср-р-р-рамн-ного.

– Баловник срамной, это вас! – ехидно выкрикнул в открытую дверь Юря. В дверь просунулась голова Геннадьича (ну, точнее, Кулькова).

– Заходи, заходи! – сделал нетерпеливый жест Кораблев. Геннадьич осторожно зашел, встав между Юрей и Гарниром. – Ах, как мне тяжело! – стал жаловаться Геннадий Саныч. – У мен-ня все время н-настроен-ние скачет. То з-злоба, то я... как б-барашек... кроткий. А этот Юр-ря мен-ня только передразн-нивает, мои н-настроен-ния копирует. З-зеркало, н-не человек! Подо всё подстраивается! Ах, Ан-ндрей Ильич, Ан-ндрей Ильич! Ладн-но. Н-надо прин-нимать решение.

После этой реплики Геннадьич, Юря и Базлаев вытянулись по стойке «смирно», и Кульков понял, что сейчас болтовня кончится, и действительно что-то решится.

– Зн-начит, так, – Кораблев снова встал из-за стола, но оперся на него кулаками. – Пересадка была н-незакон-н-ная, замен-ните Ан-ндрею Ильичу голову н-назад.

– Ура! – невольно воскликнул Андрюша, но мгновенно осекся. – Извините.

– Поезжайте н-назад в больн-ницу! Н-немедлен-но! – не глядя на присутствующих, указал на дверь босс.

В больницу ехали молча. Неизвестно, зачем ехали Гарнир и Базлаев; Кульков думал, что они конвоируют Евгения Геннадьевича, дабы тот не сбежал, но в таком случае было странным, что именно Геннадьевич сидел за рулем.

Операция прошла в немного более комфортных условиях, но, очнувшись, Андрюша не без негодования обнаружил, что за то время, пока его голову весело и гордо носил Евгений, его щеки обозначились куда более явственно – видно, от обильного питания.

После трехдневной реабилитации в «человеческой» палате за Кульковым зашел Юря, и они снова поехали *на ковер* – на этот раз на маршрутке, которую ждали около

тридцати минут. Базлаев, казалось, несколько раз порывался заговорить с Андрюшей и даже будто имел в запасе пару заготовленных реплик, но так и не решился озвучить ни одну из них.

Приехали; у Кораблева на столе появился ноутбук, с которого он слушал радио, управляя работой устройства через модные смарт-часы. Гарнир, как и в прошлый раз, стоял справа от шефа, положив руку на стол.

– Добрый ден-нь, Ан-ндрей Ильич, – поздоровался босс и, не вставая из-за стола, даже протянул Андрюше руку (тот ее слабо пожал). – Мы рады, что все н-након-нец улажен-но.

– Я только надеюсь, что больше этот человек меня не станет беспокоить, – неожиданно смело, памятуя о скачках настроения шефа и возможности надавить на него, выпалил Кульков.

– Кто? Евген-ний Ген-надьевич? Н-не переживайте, н-не будет, – успокоил Андрюшу босс. – Мы же его без головы оставили.

– Как? Он умер? – вырвалось у Кулькова.

– Н-ну у н-нас же н-не склад голов, – развел руками Кораблев.

– Он знал, что обезглавят, но больно уж совестливый был, – негромко отозвался позади Кулькова Юря. – Недельку всего хотел человеком снова побыть.

– Н-не переживайте, – стал возиться с часами шеф. – Мало ли должн-ностей, где голова н-не н-нужн-на? Это повышен-ние!

– Конечно, повышение, – поддакнул Гарнир.

– Да, – умиротворенно скрестил руки на пузе Кораблев. – А вам, Ан-ндрей Ильич, еще раз н-наши извин-нен-ния, можете возвращаться к н-научн-ной работе, с завтрашн-него дн-ня вам н-назн-начат н-нового соседа.

– Как? А музей?! – встревожился Базлаев.

– Н-не переживайте, сосед будет работать только в н-ночн-ную смен-ну.

– А, ну тогда хорошо. До свидания, Андрей Ильич! – с этими словами Базлаев практически вытолкнул Андрюшу, который снова будто оцепенел и не посмел ничего возразить против решения начальства, хотя меньше минуты назад был уверен в своей силе воли и возможности давить инакомыслие с той решительностью, с какой девочки-подростки давят прыщи своим кавалерам.

И вот Андрюша оказался на улице. Он понимал, что, в сущности, ничего не поменялось, а все, произошедшее с ним, – только одно большое неудобство, и теперь ему доходчивее некуда подтвердили, что никаких перемен не предвидится – однако на возражения сил у Андрея почему-то не хватало. Охранник смотрел на него снисходительно, мимо проходившие девушки не обращали на такого красавца никакого внимания – все шло своим чередом, даже без каких-либо намеков на возможные экзистенциальные прорывы и сдвиги.

Кульков вздохнул и побрел пешком в *квартиру*, лениво отгоняя мысль о том, что можно вернуться *домой*, что можно вернуться и поспорить с начальством, что и то можно, и это – нет, ничего нельзя, все он себе запретил. А почему? Почему? Нет, не понимаю я Кулькова – не путался он *в бабах*, не кроется никаких причин в прошлом, и он ведет себя так, потому что сама по себе его личность такая – да, впрочем, личность ли он, или только характер? Не раскрывается он передо мной, не вижу в его душе ничего, но ведь это просто я смотреть не умею, как же можно допустить, что вот передо мной живая душа дышит, а я, слепой, ее только нащупываю и гадаю: личность / не личность?! Всякий из нас – личность, мы же это понимаем, в школе нам это твердят, а на практике-то мы до того любим и видим только себя, что другим в праве на личность уж слишком легко отказываем – и сам Кульков такой же, и для него Раскольников или там Свидригайлов (это всё одно) – больше личность, чем тот же Юря Базлаев, а ведь и Юря – личность, да, и мы это, повторяю, знаем, но знаем-то в теории да на отдалении – хоть эта сказочка и стара, но проведи эксперимент, поставь перед нами Юрю, заведи его в нашу комнату, до

того стеснит он нас, что невыносимо станет – вот тебе и доказательство: если теснит, то личность, это *другое* нас теснит, чужое, второе лицо. Да и, может быть, комфортнее было бы всем поодиночке жить, как Жириновский учил, да станем ли? И так плохо, и сяк плохо. И тебе, Кульков, плохо!

А отчего тебе плохо? От всего: как начнешь *ворошить*, сразу видишь, сколько боли ты неаккуратно хламом засыпал.

И ведь тут драма! Мать, женщины, собственное положение в жизни – ни к чему нет постоянного отношения, стабильности, *позиции* – всё и дорого, и от всего готов отказаться, хоть с крыши прыгнуть. Всё в жизни ценно, всё, каждая клеенка, мешок для мусора, файл – и вместе с этим ничего тебе не нужно – нафиг! И ведь отчаянье, что не так живешь, что я не могу на тебя повлиять (хоть я же тебя и придумал – *se non è vero...* – а ты вон как встал от меня независимо), что у тебя только мечты «как бы жить лучше», в гармонии хотя бы с совестью. Но жизнь проходит, ничего не меняется, так и не дожидается тебя мама, иссякнет терпение твоих женщин, а сам ты поседеешь и износишься, глазом моргнуть не успеешь – и как же действовать-то, как? Как порвать с этой рутинной разом, посвежить, приступить, приехать, разом все уладить – эх, мечты-мечты, за которыми только мамины слезы (и Гоголя слезы незримые) – нет, не сложилась жизнь, не повезло – но выстрадано – и этим, может, что-нибудь окупится.

– Кульков! – неожиданно раздался позади Андрюши оклик.

Андрей обернулся и увидел кота Маркеса. Кот теперь стал антропоморфный, статный, высокий, в русском народном костюме и красных сапожках. В лапе кот держал картонный стакан с кофе *из ларька*.

«Как он держит стакан? У него же лапки», – успел подумать Андрюша.

– Пойдем, Кульков, прямо в рай! – Маркес подошел к Андрюше, отдал ему кофе, взял его под свободную ручку – и они пошли – в рай, где нет Соседа, Здоровья и Дисциплины и Научного Руководителя, в рай, где живут котики, а наркоманка Мариночка сладко чешется, сидя на подушках, в рай, где мама живет через дорогу и можно ходить к ней пить цикорий, в рай, где не нужно работать до изнурения, в рай, где нет панических атак и расстройства желудка, в рай, где кругом растет щавель, который не обносится пылью от проезжающих машин, в рай, где все бесплатно и без принуждения, в рай, которого нет нигде.

– Нет, Маркес, – остановился, выпустил руку Маркеса, хлебнул кофе и обжег язык Андрюша. – Еще рано нам с тобой в рай. Мы будем за него бороться.

– Так, значит, второй раунд? – после второго глотка кофе кот исчез, а на его месте стоял ухмыляющийся Юря Базлаев.

– Второй раунд, – подтвердил Андрюша.

– Так, значит, ничего не изменилось? – спросил я.

– Нет, автор, – ответил Андрюша. – Изменилось мое отношение.

– Вот это самое главное, – обрадовался Юря. – Идем домой, я тебя провожу.

Контроль, отрицание и железная воля – основные принципы Здоровья и Дисциплины.